

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор пяти книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

ПРЕДАТЕЛИ И ПОБЕДИТЕЛИ

Повесть

Семье

Антон

Мы жили в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома Цегельника на Княжеской. Ни революция, ни две войны не стерли из памяти тех, кто меня окружал, старые названия: Торговая, Конная, Ольгиевская... Мостовые из брусчатки, палисадники с мальвами, аквариумы с красными меченосцами и пятнистыми вуалехвостами на подоконниках, отвалившаяся штукатурка, открывающая ракушняковую кладку, камышит, акации, цистерна с керосином на углу, ларек «Газ-вода», продавец Исачок, кепка-букле, несвежая белая куртка, улыбка, открывающая два ряда нержавеющейки.

– Где зубы потерял, Исачок?

Только ухмыльнется в ответ.

Розовая пена пузырится над граненым стаканом, сироп «Крюшон» – четыре копейки, стакан «чистой» – копейка. Медные монеты скользят по залитому водой мраморному прилавку.

Летними вечерами мужчины в спортивных штанах, майках, шлепанцах выходят покурить у подъездов. Приветствуют друг друга сдержанным кивком головы, дают подкурить друг другу, кто прямо от папиросы, кто-то зажжет спичку в кулаке. «Ну, как оно там?» – «Та порядок». Затянутся глубоко, с чувством, отмахнут дымок. О главном уже переговорено, о другом лучше даже не начинать.

Из сумерек возникает водонос Алеша, хромой, небритый, в мешковатом костюме, кепке, с двумя ведрами в руках. «Вода, вода, вода, кому вода!»

Из окон высовываются хозяйки: «Леша, нам два!» «Нам тоже два, Леша!» Вода громко барабанит в дно ведра. Водонос, опершись о колонку одной рукой, второй поправляя фуражку, отвечает: «Два ведра в 32-ю камеру, заказ принят!» За доставку одного ведра – пять копеек, за два – десять. От мелочи карманы пиджака Алеши оттянуты и плечи скруглены.

Где-то невидимые миру соседи с лентой в голосе перебрасываются многократно отрепетированными обвинениями: «Молчи, подстилка румынская!» – «Поц, откуда ты знаешь, что румынская? Ты что, в комендатуре служил?»

А над головой, за кронами акаций, за крышами – небо, сиреневое, розовое, красное с золотым подбоем. Отгрев багровеет, наливается синевой и гаснет, уступая место звездам.

Нашу квартиру выкроили из коммунальной, поэтому туалет и кухня были крохотными. Купаться мы ходили в Дворянскую баню – на следующем квартале – ближе к Новому базару. С дворянских времен в ней остались огромные мраморные ванны, а может быть, они только казались мне мраморными. Или огромными. По сравнению с нашими удобствами все казалось огромным.

– Сортир у нас как на подводной лодке, – шутил отец. – Оправляемся стоя.

– Зато свое, – отвечала мать.

Он привлекал ее к себе, целовал в висок.

– Пусти, – строго говорила она и возвращалась к посуде, плите, швейной машине. Она всегда была при деле и всецело отдана ему. Все остальное отступало на второй план, становилось малозначительным.

Родители занимали большую комнату. Здесь семья собиралась у телевизора смотреть Форсайтов, Штирлица, Огоньки. Мы с братом Антоном занимали меньшую комнату. В дань прошлому комната родителей называлась гостиной, а наша – спальней, хотя спали в обеих.

Память моя устроена странным образом: я появился на свет, когда Антону было уже двенадцать лет, и, казалось, должен был помнить его с раннего детства, но мои воспоминания о нем фрагментарны, и все они подтверждают отсутствие в наших отношениях каких бы то ни было родственных чувств, естественной тяги младшего брата к старшему как к своему первому наставнику и защитнику. В этих воспоминаниях история нашего взаимного отчуждения.

Брат обрабатывает рубанком длинный узкий брус пальца в три толщину. Он положил его на два табурета, придавил ногой и ловко снимает с его углов пахучую стружку. Где он взял его? Шел мимо стройки и подобрал. У них там осталось от лесов. Такая удача – три метра, не меньше, как раз чтобы накрыть ею металлические перила балкона. Жалко, что только с одной длинной стороны. Две боковины он сделает позже, когда найдет планки покороче. Он уверен в том, что найдет. Выпятив нижнюю губу, он сдувает чуб с мокрого лба, утирается тыльной стороной руки, снова стружит. Лезвие с задорным жужжанием режет дерево. Мать с любовью смотрит на сына.

Потом он ловко привинчивает обработанную планку к металлическим балконным перилам. Оказывается, в них были отверстия для винтов – вот это да!

– На, попей, мужичок мой, – мама подает ему стакан с розовым компотом, в котором плавают лохмотья клубники.

Он никогда не находит других планок, но одну нахожу я.

– Мы можем сделать еще одну сторону перил? – спрашиваю я отца и вдруг слышу отказ.

– А чего?

– Я не хочу, чтобы мама потом сказала, что я это сделал хуже, чем *он*.

Он!

Мы с мальчишками стреляем в голубой квадрат неба над колодцем нашего двора из самодельных самострелов. Самострел – это деревянная катушка от ниток десятого номера, к бокам которой примотана белая бельевая резинка. Стрелы выструганы из щепок или

веток акации и утяжелены с одного конца пластилином или свернутой в кулечек крышкой от молочной бутылки из серебряной фольги. Они уносятся ввысь, там теряют скорость и, замерев на миг-другой, возвращаются к нашим ногам. Кто стрельнет выше?

Во дворе появляется Антон с двумя товарищами. Он подзывает меня:

– А ну, дай попробовать.

Он выходит на середину двора, поднимает руки и натягивает резину так сильно, что один конец выскакивает из-под прижимавших ее к катушке ниток.

– Шлема! Не мог уже нормально привязать?

Он бросает катушку мне, но мне не удается поймать ее. Она катится по асфальту к дворовой колонке и замирает в луже.

Кивнув товарищам, он скрывается в парадной. Я слышу топот их ног по железной лестнице.

Шлема! Это еще одно мое имя, которым он наградил меня.

На протяжении многих лет мы делили с ним одну комнату, наши кровати стояли в метре одна от другой, но я не помню, как он раздевался, бросал вещи на стул, укладывался.

После школы я шел в радиоателье, где работал отец и, устроившись на краю его стола, делал уроки. Запахи горячего жала паяльника и плавящейся канифоли – запахи моего детства; его звуки – негромкое зуденье радиоприемника, музыка, от которой отец улыбался и в такт ей барабанил пальцами по столу, голоса зарубежных дикторов, треск и подсвистывание заглушки.

Лето мы проводили на даче – крохотном участке с фанерным домиком, за 16-й станцией Большого Фонтана. Отец получил его как ветеран войны. Если мы шли с ним на море вдвоем, то выбирали дикий пляж возле рыбацкого поселка, который располагался под Свято-Успенским мужским монастырем. Мать не любила этот пляж, поскольку спускаться к нему нужно было с крутого обрыва по узкой, осыпающейся под ногами глинистой тропе. В некоторых местах тропу пересекали вытекавшие из почвы ручьи, из-за чего глина становилась скользкой, будто ее облили голубоватым мыльным раствором.

На берегу стояло несколько куреней и навес, под которым складывали сети, переметы, весла. Инвалид в кепке, с вечным окурком в углу рта, сидя на грязной подушке между двух плетеных корзин, устроив между двух обрубков ног кузовок с *рачками*, наживлял большие крючки на перемете – длинной зеленой бечеве, ловко перебрасывая ее из одной корзины в другую.

У берега покачивались рыбацкие баркасы. Огромные черные борта поднимались из воды выше человеческого роста. Однажды, когда мы спустились на берег, рыбаки стаскивали такой баркас в воду. Два других уже тарахтели моторами метрах в полуста от берега, за ними сияло и искрилось море. Толкая черную с белым дном махину по лежавшим на песке бревнам, рыбаки силились преодолеть песчаный накат на береговой кромке. Не хватало одного, последнего усилия.

– Подержи-ка сумку, – сказал мне отец и уверенно пошел к рыбакам. Упершись с другими в корму, он неожиданно громко крикнул:

– А ну, слушай меня! Дава-ай, р-раз! Ещ-ще р-раз!

И эти крепкие слова с вязкими «р» и «з» вдруг сплотили стоявших около него людей, сделали их сильнее и напористей, и вот уже баркас подался вперед, потом, отъехав назад, снова двинулся вперед, и с каждым отцовским «р-раз-зом» стал вылетать все дальше и дальше за кромку берега, пока, качнувшись на ней в последний раз, не

шлепнулся носом в воду. Тут же кто-то набросил на нос петлю, и канат, вылетев с искрящимися брызгами из воды, связал баркас с другим, стоявшим в отдалении. Прошуршав днищем по песку, он ушел в воду и закачался на ее зеленоватой глади. Один из рыбаков, хлопнув отца по плечу коричневой от загара рукой, сказал: «Спасибо, старшина!»

– Откуда он знает, что ты был старшиной? – спросил я.

– На фронте, когда полуторка застряет в грязи, толкают-то ее все, а орет «раз-два, взяли», кто? Старшина.

Возвращение домой в конце августа было возвращением в наше обычное состояние тихой напряженности, ожидания грозы. Утром я шел в школу, потом к отцу в ателье. Дома нас ждал ужин, телевизор, перед сном я мог еще немного почитать. Иногда я слышал, как отец спрашивал, где Антон. «А я знаю? – отвечала мать. – Шастает где-то». И в ее словах звучал укор, словно это отец нес ответственность за отсутствие сына.

После восьмого класса Антона отдали в поварское училище.

«По крайней мере, голодным не останется», – сказала мать.

Слова о том, чтобы не остаться голодным – я знал это – много значили в жизни родителей. Мать часто рассказывала, как в 30-х моя бабушка Таня обменяла на муку все ценности, которые были в доме. Когда менять было нечего, она пекла хлеб из хлебных отрубей и крапивы.

– Нам в школе давали булочки, махонькие такие, – мать показывала пальцами. – Мама говорит, доченька принеси домой хоть кусочек, попробовать. А я иду из школы домой и щиплю от нее по крошечке, есть-то хочется. Приду домой, а в кулачке один огрызок остался. Она увидит, обнимет меня и говорит: ничего, доченька, ничего, доедай, – а сама за стену держится, чтобы не упасть.

Когда Антон окончил училище, отец через знакомых устроил его на работу в пароходство, где тот, неожиданно для всех, перешел из поваров в официанты. Он объяснил это тем, что на камбузе пекло и каторга, а официант ходит во всем чистом и всегда имеет живую копейку.

Конечно, профессия официанта не входила в число почетных, но то, что он ходил в загранку, превращало его из простого халдея в моряка заграничавания. Это вызывало зависть и уважение. Еще бы, эти счастливицы видели мир, общались с иностранцами, носили красивые заграничные вещи, их дома украшали грюндики и панасоники, и даже для покупки автомашины им не нужно было стоять в очереди – дал «пару штук» какому-то ветерану войны, и тачка твоя!

Возвращение судна из рейса или уход в рейс были волнующими, как праздник. Отправляясь в порт, мать надевала нарядную красную юбку, красно-белую полосатую блузу и черные узконосые туфли на тончайших каблуках – как только устоять на таких! Туфли ей привез из Италии Антон, все остальное она сшила сама. Привычка экономить не позволяла ей брать такси, поэтому даже в таком праздничном виде она пользовалась трамваем. Поднявшись в вагон, она всегда оставалась у открытой двери кабины вагоновожатого, чтобы первой выйти и скорее-скорее бежать на встречу с сыном. С замирающим сердцем я наблюдал, какие взгляды бросают на нее другие пассажиры. А ее лицо выражало обычную озабоченность, как будто она попала в этот трамвай случайно, против своей воли, и только ждет, когда это недоразумение окончится.

В порт пропускали через проходную, где мать записывала свое имя в специальную книгу, и дежурный говорил ей, на какой причал нам идти. Антон с другими моряками

стоял у белого борта теплохода с большими светло-синими буквами «Л А Т В И Я» и переговаривался с мамой.

– Тося, ты там хоть нормально питаешься? – спрашивала она. – Посмотри, какой худой.

– Мама, – он доставал коричневую пластиковую пачку «Филип Морриса», коротко встряхивал ее, чтобы выскочила одна сигарета, брал ее по-обезьяньи вытянутыми губами. Вынув затем золотой «Ронсон» – карманы его были полны чудесных вещей – прикуривал, прятал зажигалку, выпускал дым и заканчивал фразу:

– Не начинай, это вот...

– Что не начинай?!

– Не начинай. Все нормально.

Словами «это вот» он предвещал и завершал любую фразу. За глаза папа так и называл его – «Этовот». Возвращаясь домой, спрашивал меня: «Этовот дома?»

Они не любили друг друга.

«Латвия» совершала круизные рейсы по Средиземному морю. Антон покидал дом на несколько месяцев и возвращался с чемоданами и сумками, которых ждали с тем же нетерпением, что и его самого.

Из них извлекались яркие картонки с фотографиями улыбающихся мужчин и женщин – людьми очень красивой и ухоженной породы, в наших краях не водившихся. Разворачивались с хрустом пакеты из головокружительно пахнувшей оберточной бумаги. На свет появлялись белые нейлоновые рубашки и плащи «болонья» в квадратных пакетах на молниях, джинсы сказочного цвета индиго и пестрые отрезки кримплена. В плоских коробках с прозрачными крышками сверкали аккуратно уложенные в тисненый белый пластик шариковые авторучки тропических цветов. С оранжевой пастой, желтой, светло-зеленой... Для чего их делали? Кто писал ими? Но вот делали же, и это было так прекрасно! Женщины в очень откровенных купальниках бесстыдно смотрели на меня со страниц огромных настенных календарей с рекламой сигарет «Мальборо». Искрились присыпанные крупной, как сахар, пылью мраморные гондолы с обнимающимися влюбленными – в зависимости от погоды пыль меняла цвет: розовый, фиолетовый, голубой, салатный. Сидя на диване в праздничном аромате, блеске и шорохе заграницы, я перебирал крохотные бутылочки с названиями дивных напитков: «Куантро», «Амаретто ди Сарронно», «Хосе Куэрво».

Отец читал эти названия нараспев, смешно грассируя. Подняв руку к лицу, он как бы собирал чудесные звуки каждого слова пальцами и потом отпускал их в воздух, как каких-то райских птиц. Эту декламацию он неизбежно завершал добродушным матюгом:

– «Йегер-Майстер», твою за ногу!

Выгрузку «колонизальных товаров», как их называл отец, Антон сопровождал парой типовых фраз. Первая была понятна: «Это я себе взял». Вторая – «Это на школу» – означала у моего брата «на продажу». При чем здесь школа, спросите вы? Могу только догадываться. Антон не спрашивал мать, проданось ли что-то, скажем джинсы. Он спрашивал: «Ну, как они, пошли?» А мама отвечала: «Как дети в школу».

На следующий день, когда все было распаковано и подготовлено к «школе», принимали гостей. Обычно это была семья папиного однополчанина Виталия Тиховода и друзей Антона из его экипажа. Тогда доставали из серванта хранившиеся в специальных узких мешочках, сшитых из старой бархатной гардины, мельхиоровые вилки и ножи с красивым ажурным орнаментом – ими пользовались только в особых случаях. Накрытый

в гостиной стол скоро исчезал под тарелками и блюдами с салатом оливье, холодцом, обжаренными в яйце отбивными, красными фаршированными перцами, молодой отварной картошкой с укропом, присыпанной белыми луковыми кольцами селедкой, бутылками.

Друзья брата выглядели так, будто сами сошли к нам с иностранных упаковок – ухоженные, аккуратно подстриженные, в новеньких джинсах, мокасинах, белых свитерах. Потом они снимали их, и оказывалось, что на них еще более белые рубахи. Как много белого цвета появлялось с их приходом! Друзья отца и матери смотрели на них с восторгом. Им было приятно находиться в таком светлом и жизнерадостном обществе молодых людей, повидавших мир, и вот, поди ж ты, севших с ними за один стол и с таким искренним удовольствием нахваливающих совершенно обычные отбивные и картошку!

Антон как виновник торжества, привстав, произносил первый тост:

– Ну, как говорится, за тех кто в море, это вот!

Веселый и деловой звон посуды перемежался праздничными названиями: Неаполь, Генуя, Марсель, Гибралтар...

– Но почему, почему, я не понимаю, у нас не могут шить такие же самые джинсы? – удивлялся отец. – В чем проблема? Синие штаны с оранжевой строчкой!

– Это не оранжевая, – поправлял Антон. – Ты вообще этот цвет назвать можешь? У нас и названия такого нет, это вот.

– Только джинсы? – усмехался Тиховод.

– А эти плащи? – поддерживала разговор тетя Нина. – Что там шить?

– У моего соседа Фимы был трофейный мерседес, – для привлечения внимания дядя Виталий кашлял в кулак и продолжал неторопливо:

– Фима на фронте был водителем. Генерала одного возил. Весной 45-го под Прагой фриц по нему ударил прямой наводкой. Снаряд насквозь прошел. Генералу башку оторвало. А Фиму только обожгло с правой стороны. Снаряд раскаленный же летит. А тут победа, суета, короче, так этот мерседес за ним и остался. Считался подбитым. Так он его, значит, восстановил, и до сих пор ездил. Смазал, подкрутил и поехал. Сколько он сот тысяч прошел – не знаю. Может, все пятьсот, а может и больше. Потом на заводе, он на Канатном работает, встал в ветеранскую очередь на москвича. Получил. Счастлив был как не знаю кто. Мерседес жалко выбрасывать, какому-то родственнику сплавил в Овидиополь за сто рублей. Поездил полгода на своем москвиче. Сейчас из-под него не вылезит. То одно полетело, то другое. Запчастей нет. От дома отъехать страшно. Позвонил в Овидиополь, говорит, мол давай меняться. Тот родственник: нет, спасибо. Так и остался со своим москвичом.

Дядя Виталий негромко засмеялся, кто-то подхватил его смех.

– Да-а, немцы – это механики, – заметил отец.

– У нас, между прочим, половина судов в пароходстве немецкая, – сказал высокий и худой парень Гера. – Я, когда на «Нахимове» ходил, там в машинном еще надписи кое-где оставались – «Берлин».

– Да, но в космос мы полетели, а не немцы, это вот, – заметил Антон.

– В космос-то мы полетели, – согласился дядя Виталий. – А банку майонеза купить – проблема.

– Та у нас вообще самая богатая страна в мире, это вот, – ответил Антон. – Западу просто повезло, что их Америка после войны отстроила. Мы же им камня на камне не оставили. Что бы они вообще без этой Америки делали? А мы все сами. С нуля. Чтобы ни

от кого не зависеть. Ни у кого не быть на коротком поводке, это вот. А майонез – что, откуда-то же мать его взяла, – и он кивнул на стол.

– Ну, нам Америка тоже во время войны помогла, – заметил отец. – Мои минометы, между прочим, на студбеккере стояли.

– Какие минометы? – не понял Антон.

– Гвардейские. «Катюшами» назывались, никогда не слышал?

– Это не говоря о простой тушенке, – вставил дядя Виталий. – Что бы мы без нее жрали? Подумать страшно.

– Техника, тушенка, все это не главное, – упрямо сказал Антон. – Главное, что эту страну отстояли настоящие герои, коммунисты, которые костями легли в эту землю, но немца сюда не пустили.

– Это – точно, – сказал дядя Виталий и взял свою рюмку. Глаза его совершенно скрылись между подушечками щек и надбровий, казалось, он беззвучно смеется.

– И я, между прочим, – продолжал Антон, – хочу вырастить своих детей так, чтобы они тоже были настоящими коммунистами, это вот. Честными и принципиальными. Чтобы они могли, если надо, жизнь отдать за родину. Потому что честность и принципиальность – это главное, что есть у коммуниста.

Он сжал руку в кулак и рывком закрепил сказанное в воздухе.

– А между прочим, двое-то наших в Австралии – тью-тью, – сказала непонятно к чему тетя Нина и пошевелила двумя пальцами, как показывают идущие ноги.

За столом замолчали.

– То еще отребье... – нарушил тишину Антон. – Лично расстрелял бы. О своих товарищах, о тех, кто остался на судне, они подумали?! О престиже своей родины они подумали? Сам бы взял автомат и в упор...

– Ну, этим пусть другие занимаются, – добродушно сказал дядя Виталий. – Ты лучше детей делай и воспитывай потом, оно и приятней и полезней.

Он негромко засмеялся и приподнял рюмку:

– Ну, давайте, за детей!

Он выпил, не чокаясь, и другие последовали за ним, с нарочитым энтузиазмом начав нахваливать кулинарные таланты хозяйки.

После обеда отец отправился провожать Тиховодов. Жили они недалеко, на Островидова, и возвращались домой пешком.

– Идем прошвырнемся до угла, – кивнул он мне.

Выйдя из подъезда на улицу, друзья переглянулись и засмеялись.

– Остапа понесло, – сказал папа.

– Наверное из парткома там кто-то был, нет?

– Наверное.

И они засмеялись еще веселее. Их способность понимать друг друга с полуслова приводила меня в восторг.

Планы

Упаковав «колониальный товар» в большие самодельные сумки, мать ездила по воскресеньям на толчок, а выручку складывала на сберкнижку Антона. Каждая продажа фиксировалась в специальном блокноте.

– Ну, что там у нас в кассе? – спрашивал Антон.

– Положила одну, сейчас там пять.
– Та-ак, пять штук. Что-то медленно собирается, нет?
– Тосик, тебе дать отчет? У меня все записано, – скулы у матери вспыхивали, она доставала блокнот.

– Та не надо, это вот, – останавливал он ее. – Я что, не верю? Ну, что ты начинаешь?

От цифр Антон возбуждался, нервно затягивался, сбивал пепел прямо на пол. Мать говорила:

– Вот же пепельница на столе!

– Да ладно, я уберу потом.

– Ага, не забудь только.

Если мать выходила из комнаты, он носком отбрасывал пепел под диван. Или растирал на полу. Плюнет бывало и разотрет со скрипом. Поймав мой взгляд, бросит:

– Ну, чего уставился, нечем заняться? Иди уроки делай.

Он видимо считал, что я должен был делать уроки круглые сутки.

Деньги мать собирала на приобретение отдельного жилья для Антона. «Не сегодня-завтра женится» – говорила она.

План был такой. Сначала следовало приобрести половину частного дома где-то на Молдаванке. Затем с доплатой можно было бы обменять его с каким-нибудь алкашом на его комнату в коммуналке – уже в городе, а ту в свою очередь, и тоже с доплатой, – на однокомнатную отдельную. А потом, но уже со временем и с еще большей доплатой, на двухкомнатную. И это был бы тот дом, в который можно было привести приличную девушку. Я часто слышал тогда это выражение – приличная девушка, но какой именно она должна быть? Иногда я пытался представить ее, но в голову лезли только мои одноклассницы. В своей коричневой форме и черных передниках Антону они, конечно, были не парой.

До покупки дома, точнее – полудома, Антон еще хотел приобрести тачку. Моряк заграничного без тачки был все равно как без судна, на котором он ходил в заграничку. Тачка стоила 15 штук, если речь шла о жигуленке, а если о волгарике – то все 25. О москвиче он говорил: «Курица – не птица, Болгария – не заграничка, москвич – не машина».

Людмила

Карты, аккуратно разложенные моей мамой, спутала нечаянно нагрянувшая любовь. Из очередного рейса Антон привел домой смешливую блондиночку на точеных ножках – Людмилу. Ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не нос – без крыльев ноздрей, приподнятый и открывающий два отверстия, он был будто слеплен неловкими руками из хлебного мякиша. За праздничным обедом Антон сообщил родителям, что хочет жениться.

Гостья залилась краской и не отрывала взгляда от тарелки. Родители были растеряны.

– Тосик, у тебя, между прочим, вопрос с армией не решен, – сказала мать. – Может, как-то сначала утрясти этот вопрос? А что если тебя призовут?

О том, что Антона могут призвать на военную службу, в доме говорили, но не часто. Были дела поважнее.

– Призовут – не призовут, – занервничал он. Реакция родителей ему не понравилась.

– Это серьезное решение, – заметил отец. – Вы вообще давно встречаетесь?

– Та какая разница, это вот, сколько мы встречаемся? Это что-то меняет?

Антон привлек Людмилу к себе, звонко чмокнул в щеку.

– Сколько мы вместе, зайка, а? Уже месяцев семь точно. С Генуи.

И отец и мать словно отшатнулись от этой «зайки».

– Я бы не советовала торопиться, – сказала мать. – Мы даже не знаем семью Людмилы. Наверное, надо встретиться с ее родителями, обсудить все. Ну что, я не права?

– Та что там обсуждать, это вот? – небрежно возразил Антон. – Башли есть, все сделаем как в лучших домах Лондона.

«Лондон» он произнес с ударением на втором «о». Он закурил, поднялся и, разбрасывая тут и там облачка ароматного дыма, стал ходить по комнате. Потом, вскинув руку и посмотрев на часы – у него был роскошный «Ориент» на золотом браслете с рубинового цвета циферблатом – скомандовал:

– Так, Людмилка, нас ждут.

Та так и вскочила со своего места.

Не успела за ними закрыться дверь, как отец спросил:

– А где они жить будут, они знают?

– Оставь, – оборвала его мать. – Я с ним еще буду говорить. Без году неделю знают друг друга и уже женятся! Совсем спятили.

Антон вернулся, когда все спали. Возвращаясь поздно, он избегал разговоров с отцом, который обычно обезоруживал его своей логикой. А на следующий день, когда отец уходил на работу, Антон разрешал все свои проблемы с матерью, оставляя ей заботу о том, как поставить отца перед фактом принятого ими решения. Точнее – им. Повторяя на разные лады одно и то же, он гипнотизировал мать, всегда делая ее своей сторонницей.

Вечером из разговора родителей я узнал, что до встречи с Антоном Людмила работала стюардессой, в смысле убирала каюты пассажиров. Когда они стали встречаться, он помог ей перейти на должность официантки в бар, за стойку которого он сам перебрался из официантов. Отца у нее не было. С матерью были какие-то проблемы.

– Меня интересует, что будет с Мишей, если они придут сюда, – спросил отец. – Он будет спать с нами или с ними?

Мать не ответила, только кожа напряглась на скулах. Я остро ощутил тогда, как вдруг стал лишним в семейных планах.

Эти планы предполагали, что молодые какое-то время будут работать на одном судне, но как долго – сказать было сложно. Рано или поздно об их связи станет известно в отделе кадров, и тогда их неизбежно припишут к разным экипажам. Супругов и любовников отпускать в загранику вместе избегали. Плавать порознь с любимой Антон тоже не хотел, считая, что судовая жизнь грозит ей всяческими соблазнами.

– Но по крайней мере один хороший рейс у нас в запасе есть. А повезет, так и два. Пока заметят, пока стукнут, верно, зайка моя? – Антон привлекал любимую к себе. Она краснела и прятала взгляд. – Нам бы еще на «Горький» вдвоем попасть, и мы тогда, вообще, в дамках, это вот.

Попасть в экипаж «Максима Горького» было мечтой многих моряков. Остроносый, высокий, со стильно оклоненной назад трубой и резко обрубленной кормой, «Горький»

совершал круизные рейсы по Карибскому морю. Туристов он подбирал в Нью-Йорке и в Майами.

– Да-а, побывать в Нью-Йорке, это, конечно, нечто, – с нескрываемой завистью говорил отец. – Статуя Свободы, Уолл-стрит, Импайр-Стейт билдинг, Бродвей!

– Та это не то слово, это вот, – подхватывал Антон и торопливо затягивался сигаретой, словно дым в легких помогал ему подольше удержать перед внутренним взором дивный мираж. – Та там джинсы типа 501-го «Ливайса» в два раза дешевле, чем в Стамбуле. Ты вообще представляешь, это вот, какой выхлоп будет с такого рейса, а? Десять пар – легко, и это не считая другого барахла. Магнитофонов пару-тройку штук, да все что хочешь, это вот!

– А таможня? – интересовалась мать. – Пропустит столько товара?

– Та какая таможня! – говорило задыхающейся скороговоркой табачное облако. – Ты вообще представляешь себе, сколько барахла люди в машинном отделении прячут? Вагон и маленькую тележку! Та какой там вагон, это вот. Состав! Ты что думаешь, машинисты стоят у топки на одну зарплату? Они там за трубами, за котлами маму с папой заховают!

Нужно было только найти инспектора-кадровика, который помог бы осуществить этот план. Каждый день Антон, побрившись и надушившись, намочив волосы и тщательно причесав их, надевал лучшее и шел к отделу кадров пароходства возле парка Шевченко. Во внутреннем дворе, где размещался трехэтажный особняк, собирались оказавшиеся на берегу моряки. Встав в круг, дымя сигаретами, они часами обсуждали свои проблемы и планы. Когда рабочий день в пароходстве заканчивался, двор перед ним пустел. Уборщица, как само воплощение незавидной береговой жизни, шаркая со строгой сосредоточенностью метлой, сметала усыпавшие асфальт окурки. Если попадалась едва начатая сигарета, она сдувала с нее пыль и клала в карман.

Вечером Антон возвращался домой. Поев, покурив, полежав с потухшим взглядом перед телевизором, он переодевался, душился, причесывался и отправлялся к Людмиле. Поначалу они ходили в кино или к приятелям-морякам, но все чаще приходили к нам. Забрав учебники или книгу, я освобождал им комнату, оставляя за спиной странную тишину.

Иногда отец предлагал мне сходить прогуляться, и мы шли на бульвар, переходили Тещин мост и от Дворца пионеров направлялись к памятнику Пушкину. Здесь, устроившись на скамейке, отец доставал из кармана брюк немного примятую пачку «Беломора», спички, прикрыв огонек ладонями, закуривал.

– Папа, расскажи про войну, – просил я.

– Что рассказывать, сына? Приезжали на позицию, распаковывались, заряжали, давали залп. Если в тылу у немцев были наши наводчики, давали корректировку по связи. Снова заряжали, снова давали залп. Если хотели помотать фрицам нервы, запускали по одной ракете. Если готовились к наступлению, били залпами без передышки.

– А почему катюшу называли гвардейским минометом? – спрашивал я.

– Гвардейским реактивным минометом, – поправлял меня отец. – Потому что гвардия – это цвет армии. И эти минометы доверяли именно гвардейским частям.

У отца был знак «Гвардия». Он был прикреплен к правой стороне его черного габардинового пиджака. На левой у него было два ряда колодок и орден Красной звезды. Он называл этот пиджак парадно-выходным и надевал раз в год – на День Победы.

Пиджак в некоторых местах блестел, но мать не велела перевешивать награды на другие пиджаки, чтобы не дырявить ткань.

По рассказам отца, его война не была такой героической, как в кинофильмах. Он не ходил в атаку, не участвовал в перестрелках.

– А вас бомбили? – с надеждой спрашивал я.

– Бывало, – он улыбался, клал руку мне на плечо, привлекал к себе. Его рука пахла табаком и канифолью.

– А бомбежка правда страшней всего?

– Страшней всего? – он проводил ногтем большого пальца по лбу. – По-разному бывало. Страшно было пару раз в Литве, уже в конце войны. Входишь в какую-то деревню, а на улицах – ни души. Собаки и те молчат. И ты идешь и ждешь, что кто-то тебе пальнет в спину. Но страшней всего мне как раз было не на войне...

– А где?

– Где? Перед войной я как-то получил повестку в райотдел милиции. Время – восемь вечера. Я спрашиваю посыльного, что, прямо сейчас идти? Прямо сейчас. Ну, куда ты денешься, пошел. Дежурный посмотрел повестку и говорит, мол, сядьте и ждите, вас позовут. Я сел. И просидел я там четыре часа. А мимо людей водили, приводили, уводили. Кого-то в наручниках. И я сказал себе: надо заснуть. Положил ногу на ногу, прикрыл лицо ладонью и задремал. Или сделал вид, что задремал. Сидел и считал до ста, потом снова до ста. Вдруг слышу – меня кто-то по плечу похлопал. Поднимаю голову – старлей. «Повестку давай». Я дал. Он посмотрел и говорит: «Можешь идти домой». А я встать не могу. Ноги отнялись. А он смотрит на меня и усмехается. Понял мое состояние. А ты говоришь бомбежка.

– А почему ноги отнялись?

– Ты меня о чем спросил минуту назад?

– Про войну...

– Нет, сына, ты меня спросил, когда страшней всего было.

– А, да.

Отец поднялся и я тоже встал.

– Вот я тебе и рассказал, когда страшней всего было. Когда уже приготовился ехать не домой, а в совершенно другом направлении.

– А почему?!

– Потому что время такое было...

– Какое?

– Такое. Когда тебя могли отправить куда угодно. Ну что, пойдём?

В его истории была пугающая мистика Эдгара По. Таинственный вечерний вызов в милицию. Освещенный мутным электрическим светом коридор. Люди, которых приводят и уводят. Безмянный офицер, отказывающийся объяснить причину вызова. Его усмешка из-под низко надвинутого козырька. За всем этим стояла тайна, мрачное очарование которой не должно было нарушаться никакими моими «а почему?»

Мы шли домой.

– Дыши глубже, – говорил отец. – Полезно для здоровья. Два шага – глубокий вдох, два шага – глубокий выдох. Успокаивает нервы.

Он явно таким образом успокаивал свои.

Когда мы возвращались, мать сидела у швейной машинки. Отец брал ведра и, спустившись к дворовой колонке, набирал воду.

– Здравия желаю, старшина! – обращался к нему кто-то из жильцов, но не по-военному, с иронией в голосе.

– Вольно, – отвечал отец. – Вечер добрый.

Слышно было, как хлопали встретившиеся ладони.

Думала ли мать о том, что нам с отцом не очень уютно в нашем доме? Не знаю. Ее голова была занята тем, как мается со своей невестой без своего угла ее Тосик. И в конечном счете она уговорила отца, чтобы тот позволил им жить у нас.

– Все равно они уже как муж и жена, – сказала она, закрыв тему соблюдения приличий. – Месяц-два поживут до рейса, ничего не случится.

– А потом?

– А потом видно будет, – отрезала она. – Может ума хватит купить сперва жилье, а потом уже машину. Зачем ему вообще эта машина, если он большую часть года – в рейсе?

– А Миша?

– Поставим у нас раскладушку.

Последовавшее молчание отца было знаком его согласия – вынужденного, но мать готова была переступить через эту мелочь.

О том, чтобы Антон поселился у Людмилы, речь даже не заходила. Подвал на улице Чичерина, где она жила с матерью, был сырым и темным, сама мать оказалась алкоголичкой. Это выяснилось во время ее первого визита к нам. Людмила, краснея, представила ее как Екатерину Васильевну, но та, тут же отмахнув церемонии, сказала, что все друзья зовут ее Катюхой.

Катюха была высокой, сутулой, худой, с коричневыми огрызками зубов и хриплым смехом, похожим на кашель. Выпив первую же рюмку, обхватив при этом ее ободок страшными фиолетовыми губами, она стала щипать отца за бока, приговаривая: «Ты посмотри, какой ухоженный пупсик!» Отец, потрясенный такой вольностью, отводил ее руку и смотрел на мать, спрашивая взглядом, что делать. Его спасало то, что сказав два-три слова, гостья начинала кашлять, и рука нужна была ей, чтобы прикрывать рот. Кашляя в обтянутый сиреневой кожей кулак, она вся сотрясалась, уродливо вытягивала мокрые губы и багровела.

После второй рюмки она стала лопотать что-то невнятное и глупо смеяться, опасно отклоняясь от стола. Мать сказала отцу негромко, чтобы он больше не наливал.

– Что ты! А я как раз собрался, – ответил он.

Отодвинувшись от стола, он отвел руку, чтобы в случае надобности придержать гостью.

– Ее уложить надо. А то она упадет сейчас.

Но ее не стали укладывать. Антон и Людмила подхватили пьянчужку под руки, хлопнула дверь, железная лестница загремела, как будто по ней сволакивали мешок картошки.

Когда молодые вернулись, мать убирала со стола, отец выносил посуду на кухню. Людмила вызвалась ему помочь и, как только они вышли из комнаты, мать сказала Антону негромко, но твердо:

– Этого в своем доме я больше видеть не хочу. Ты меня понял?

– Та ладно, это вот, – ответил Антон. – Я что, знал, что она так быстро, это вот... Она, вообще, нормальная тетка. Людмила говорит, что там к ней кто-то из соседей зашел, день рождения или что-то в этом роде. Отказываться же неловко... Ну, перебрала малек, с кем не бывает?

– Я больше не хочу этого здесь видеть, – отчетливо повторила мать, придавливая указательный палец к столу на каждом слове.

Предполагалось, что молодые проживут у нас совсем недолго, до следующего рейса, но в рейс Антон не ушел.

Даманский

От армии Антон начал бегать сразу после окончания училища – с первой же повестки. Посыльным из военкомата мать говорила, что Антон – моряк и сейчас в рейсе, вернется на берег через месяц. Смущенно помявшись у двери, худенькие мальчишки в армейской форме уходили. Фразу про Антона-моряка мы должны были произносить, пока тому не исполнится 28 лет. В этом возрасте на военную службу уже не забирали.

Его твердое решение не служить ни при каких обстоятельствах созрело после инцидента на Даманском, где погиб его приятель из соседнего двора – Серега Быстров. Дело было так.

Мы с матерью и Антоном возвращались с Нового базара, где купили новые обои. Я прижимал к груди два рулона, мать с Антоном несли остальные в большой хозяйственной сумке, которую держали с двух сторон за ручки. Мы увидели, как четверо солдат с пожилым прапорщиком выгрузили из серого с черной полосой похоронного автобуса, стоявшего у дома № 23, красный гроб. За гробом в подъезд тут же втянулась, как в воронку, группа одетых во все темное людей. Мать спросила у сидевшей у подъезда бабки:

– Кого это?

– Быстровых паренька привезли, – ответила та и добавила негромко: – С китайской границы.

Любозытие подтолкнуло нас во двор дома, где жили Быстровы. Растрепанная, в домашнем халате мать погибшего пыталась обхватить гроб, мешая солдатам нести его. Делая судорожные попытки заглотнуть побольше воздуха, она требовала поставить гроб на землю и тут же открыть, чтобы она могла посмотреть на сына.

– Солнце мое! – задыхаясь, выкрикивала она. – Солнце мое! Откройте мне его!

– Не опускать! – скомандовал прапорщик.

Солдаты пересекли двор и скрылись в парадном. Обитый красной тканью ящик стал подниматься рывками по лестнице – Быстровы жили на втором этаже. Прапорщик, стоя у входа в парадное, что-то говорил матери, но та, вырываясь из рук придерживавших ее мужчин, повторяла: «Нет, откройте! Я вас как мать прошу! Я имею право как мать!»

В это время Антон с поразительной ловкостью проскользнул между толпившимися во дворе жильцами и юркнул в дом раньше, чем туда вошла мать его приятеля. Был очень теплый весенний день, снег еще не сошел, но уже начал обугливаться с краев. Окна в квартире Быстровых были открыты, и мы слышали все, что там происходило: рыдания, потом удары молотка, потом чей-то голос: «Отойдите, отойдите», потом тишину и крик, страшней которого я не слышал за всю жизнь. Потом что-то тяжелое упало и разбилось, после чего зазвучало многоголосье, через которое пробивался тот же командный голос: «Закрывай немедленно! Закрывай!»

Когда Антон вернулся к нам, лица на нем не было. Подхватив сумку и перекосившись на сторону под ее тяжестью, он бегом-бегом понес ее со двора, мы бросились за ним.

Уклонявшихся от воинской службы моряков было так много, что в военкомате предприняли экстраординарные меры для их поимки. В дирекцию пароходства пришло письмо с просьбой помочь собрать всех работников призывного возраста, которые не могли исполнить гражданский долг по причине сильной занятости. Пароходство, конечно, не хотело терять проверенные кадры, но вынуждено было подчиниться.

В один прекрасный день ничего не подозревавшего Антона вызвали в отдел кадров и сообщили, что он снят с рейса. Ему вручили повестку и попросили расписаться в получении. Тогда-то ему и пришлось сойти на берег с «Ивана Франко», на котором он проплавал к тому времени года три.

Но Антон и тут выскользнул из лап «милитаристов», как он называл сотрудников военкомата. Он пошел в отделение скорой помощи больницы водников с жалобой на острую желудочную боль. В анализе оказалась кровь, и его госпитализировали с подозрением на прободную язву. Он оставался в больнице несколько недель, пока не окончились очередной сбор и отправка призывников в войсковые части.

Возвращение Антона домой из больницы было совсем не таким, как его возвращения из заграники. Все было обыденно, тускло, без праздничного меню и сверкающей посуды. Борщ, салат из помидоров и огурцов с белым луком, котлеты с пюре. Сев к столу и, потирая руки, Антон спросил отца:

– По пейсят?

– С прободной вообще поосторожней надо, – ответил отец. – Ни спиртного, ни острого, а то и лыжи откинуть недолго.

– Та какая там прободная, – сказал Антон. – Отблагодарил врача по-человечески, он и написал, это вот... Тоже кушать хочет.

– Ну, знаешь... – отец покачал головой и взял ложку. На Антона он смотреть избегал и пить явно не собирался. Потом собравшись с духом, спросил:

– Ты вроде детей настоящими коммунистами растить собирался, не помнишь?

– Кто – я? – Антон, видимо, не мог сразу сообразить о чем говорит отец, потом сообразил, лицо его тоже напряглось и он сказал:

– Ну, это если война, а так чего напрягаться. От напряжения пупок может развязаться.

Так и не начав есть, он отодвинул тарелку и вышел. Грохнула дверь. Шаги застучали удаляясь по лестнице.

– Что ты уже сказал ему? – спросила мать, вернувшись из кухни.

– Ничего, – буркнул отец.

– Как же ничего, я же видела, как он вылетел. Даже не поел. Гос-споди, когда это уже все кончится...

После выписки из больницы Антон еще провел неделю в санатории на Фонтане, потом пошел в отдел кадров, чтобы получить новое место. Ему сказали ждать. Потом из рейса вернулась Людмила, и он настоял, чтобы она сошла на берег. Поселились молодые у нас. В комнате родителей мне поставили раскладушку. Положили на нее старый полосатый матрас и накрыли его одеялом с треугольными ожогами от утюга, чтобы было помягче.

Две наши комнаты примыкали одна к другой по длинной стене и, чтобы пройти на кухню, не беспокоя молодых, мама отгородила портьерой узкий проход по короткой стене меньшей комнаты. Это была легкая ситцевая портьера с зелено-фиолетовым узором треугольных елочек, которая, увы, не обладала звукоизоляционными свойствами.

Бывало, придавленный отроческим, полным немислимых догадок ужасом, я сидел у телевизора, слушая доносящиеся из-за открытой двери страшные звуки: игривое «р-р-р-р-ам!» моего брата и заходящийся смех его подруги, переходивший в сладкие стоны. Предположу, что в такие моменты отец мечтал заложить дверной проем кирпичом, но он только делал погромче телевизор. Каждую секунду он, должно быть, надеялся, что вот еще один «р-р-р-ам!», еще один всплеск визгливого хохота и наступит тишина. Но мой брат был совершенно неумомим и одновременно неизобретателен, и в конечном счете мать говорила: «Пойду, поставлю чайник». Она поднималась и шла из комнаты, закрывая за собой страшную дверь.

Один день Ивана Денисовича

Как-то ночью меня разбудил возмущенный шепот отца, раздававшийся по ту сторону стола, с дивана, где они лежали с матерью. Его голос родился в ворохе неразличимых поначалу слов, обрывков фраз и пророс завивающейся от злости лозой:

- Это просто какая-то уму непостижимая дикость!
- Шурик, умоляю тебя, успокойся! – ответила шепотом мать.
- Нет, ну ты понимаешь – вырвать из журнала страницу и вытереть ей одно место!
- Да где же ты ее нашел?
- Где?! В мусорном ведре!
- Боже мой, что тебя туда занесло?
- Что меня туда занесло?! Я обыскал всю квартиру, это было последнее место, куда я не заглянул! Я не поверил себе, пока не развернул этот комок!
- Может быть, это не он, а она?
- Какая разница! Это – «Один день Ивана Денисовича»! Мне доверили этот номер «Роман-газеты» на один день! Что я завтра скажу Сергею Михайловичу?!
- Давай я выстираю и высушу этот твой листик
- Это же бумага! Ты можешь выстирать газету?
- Давай попробуем, у тебя есть другой выход?

Отец поднялся, включил торшер. Мать принесла с кухни чайник и миску. Налив воду, положила туда распрямленную страницу со страшным следом, потом достала пачку ваты и с треском разорвала ее.

- Я убью этого придурка, – сказал отец, стоя над ней.
- Я тебя умоляю, – устало ответила мать. – Может быть добавить чуть-чуть хлорки?

Не знаю, чем кончилась эта операция, но утром, перед тем как уйти на работу, отец вызвал Антона. Тот вышел из-за занавеси в одних белых трусах иностранного пошива, очень худой и всклокоченный.

Началось дознание.

– Та какой журнал я взял, это вот... – говорил Антон, растерянно почесывая затылок, но отец не оставлял его:

– Ты вообще понимаешь, что тут больше никого нет, кроме нас! Ни я, ни мама, ни Миша этого сделать не могли!

Антон вернулся за занавес, надел джинсы, набросил рубашку и вышел снова к отцу. Закурив, он стал нервно ходить по узкому проходу. В промежутках между

короткими и частыми затяжками он говорил возбужденной скороговоркой, перемежая слова матюгами, которые в доме у нас никогда не звучали:

– Я что, бля, виноват, что в доме клочка туалетной бумаги нет, это вот? Живете тут как дикари, ябанарот!

– У нас много чего нет, но если ты такой нежный, надо было себе с парохода принести, но журнал-то зачем рвать?!

– Знаем твои журналы! Я тебя еще посажу нахер за эту антисоветчину! Ты у меня еще допрыгаешься, ябанарот!

По этой дикой матерной тарабарщине, по злости, с которой они оба говорили, я с отяжелевшим сердцем, понял, что та гроза, которая так долго собиралась разразиться в нашем доме, разразится сейчас.

– Что-о? – опешил отец. – Кого ты посадишь, дур-рак ты чертов!

– Тебя! – выкрикнул Антон. – Тебя! С журналом твоим, понял?!

Дальше произошло непредвиденное. Отец шагнул к Антону и, взяв его одной рукой за пояс джинсов, второй схватив за плечо, оторвал от пола. Тот, потеряв равновесие, взмахнул руками, ухватился за занавес и, оборвав его, упал в стоявшую за ним кровать. Людмила, все это время остававшаяся в ней, закричала. И тут же закричала мать не своим, страшным голосом:

– Прекратите это немедленно! Пре-кра-тите!

Отец отряхнул руку, как будто она была мокрой, и вернулся в большую комнату. Здесь он поправил выбившуюся из-под пояса рубашку, достал из шкафа пиджак, надел его и пошел к выходу. В проходе он остановился и сказал все еще выпутывающемуся из портьера Антону:

– Если ты не хочешь, чтобы я помог тебе упаковаться, сделай это сам до моего возвращения.

Когда дверь за ним закрылась, Антон достал трясущимися руками новую сигарету, прикурил, заходил по комнате:

– Та я, это вот... он даже не знает... Та я пацанам своим скажу, они его заточками на фашистский знак порежут, это вот...

– Замолчи! – крикнула мать. – Какие заточки?! Что ты мелешь?! За решетку захотел?!

Мать села к столу, одной рукой держась за лоб, второй быстро собирая на скатерти что-то невидимое.

Антон не ответил. Лицо его покраснело, глаза стали влажными, он издал какой-то страшный звук – как будто из его горла выбиралось что-то мокрое и липкое. Размазывая рукой слезы по щекам, он заговорил, захлебываясь:

– Та у меня здесь вообще какие-то права есть, это вот... Я вообще человек или я последнее дерьмо какое-то, а?

– Тося, я не могу здесь оставаться, – сказала Людмила, застегивая юбку. От испуга у нее зуб на зуб не попадал. – Я пойду домой.

– Подожди, это вот, – сказал, всхлипывая, Антон. – Я с тобой.

Вернувшись из школы, я обнаружил что комната молодых пуста. Постельного белья на кровати не было.

Когда отец пришел с работы, мать молча подала ему обед и вернулась к швейной машинке. Ложка стучала о тарелку. Слышно было, как отец глотает. Машинка с металлическим цыканьем вгоняла иглу в ткань. Телевизор не включали. Вечером мать

сказала, чтобы я перестелил белье с раскладушки на свою старую кровать, а раскладушку сложил. Потом мы с отцом подняли ее на антресоли. Я залез по лестнице наверх, а отец снизу подал мне ее, потом свернутый в рулон матрас, сказал негромко:

– Далеко не ставь.

День подошел к концу, но родители так и не заговорили друг с другом. Я ушел в комнату, которая снова стала моей, но ощущения того, что она моя, не было. Я погасил свет и лег. Мертвая тишина окружала меня.

Все будет хорошо!

Антон появился через день, невероятно перепугав меня.

– Перекусить бы, – сказал он таким тоном, словно никакого скандала и не было. – А то голодный как собака, это вот.

Подавая ему обед, мать попросила его приходить каждый день, пока отец на работе.

– Хорошо, – легко согласился он. – Кофейку чашечку сварганишь?

Он приходил один, Людмилу я больше не видел. Раз в неделю он приносил в сумке белье, и мать стирала его. Доставая из сумки вещи, она подносила их к носу и, сделав короткий вдох, бросала с гримасой отвращения на пол. Они были пропитаны запахом подвала, в котором он теперь жил. И от Антона тоже теперь пахло прелой сыростью вперемешку с одеколоном. Его разговоры с матерью были прежними: какие суда куда ходят, кого и как надо отблагодарить, чтобы уйти в хороший рейс. Иногда он засыпал, и если дело шло к пяти часам, мать будила его, чтобы он не столкнулся с отцом.

Во время очередного визита Антон сказал:

– Мне тут предложили пойти на «Собинове», это вот. В Австралию. Наверное, соглашусь.

– А чего же ты раньше не пошел?! – спросила мать. Она гладила белье, но тут поставила утюг стоймя и села. – Ты же про этот «Собинов» еще в апреле говорил. Полгода же дома просидел!

– Так Людку же хотел с собой взять. – Он сделал глубокую затяжку, выпустил струю дыма. По тому, с какой силой эта струя устремилась к потолку, можно было судить, насколько он сам возбужден мыслью о возвращении на работу. – А тут же все паромство уже знает, что мы с ней, это вот...

Я впервые услышал, с какой небрежной отстраненностью он назвал подругу Людкой.

– Сам бы давно пошел в рейс, сейчас бы уже имел свою крышу над головой, – сказала мать.

– Так в Америку же, это вот, хотел попасть с ней. Ты вообще представляешь себе, что такое побывать в Нью-Йорке? С одного рейса можно все вопросы решить.

– За полгода можно было и по Средиземному морю что-то собрать. Тише едешь – дальше будешь. – Мать побрызгала водой на лежавшую перед ней простыню и снова взялась за утюг. – На «Ивавне Франко» мог бы до пенсии плавать. И каждые два месяца дома.

– Как же я мог плавать до пенсии, если я в больницу лег?! – удивился он материнской несообразительности.

На этот довод возразить ей было нечего.

– А что Людка теперь будет делать? – спросила она.

– На крымско-колымскую пойдет. На «Победе». Вчера вписали в судовую роль.

Выстрелив окурком в открытое окно Антон достал из бокового кармана кожаного пиджака примятую пачку простой «Шипки», выбил очередную сигарету и снова закурил.

– А если окурочек кому-то на голову упадет? – спросил я, пугаясь собственного голоса, пугаясь того, что в нем может прозвучать долго заполнявшая меня нелюбовь к нему, моему брату.

Он внимательно посмотрел на меня, словно только что заметил, и спросил:

– В лобешник хочешь?

– Нет.

– Тогда сиди и не вякай, понял?

– Сколько курить можно? – тут же вмешалась мать. – Одну за другой, одну за другой, дышать же нечем!

Я вернулся в комнату, которая теперь считалась моей, и сел на подоконник. По карнизу ходили, воркуя и царапая лапками жезь, голуби. На балконе напротив соседка развешивала белье. Когда Антон был дома, я не в состоянии был чем-либо заниматься. Его присутствие всегда грозило самым бесцеремонным вмешательством в мою жизнь, разрушением того мира, в котором у меня были родители, дом, свое место.

– Так что с Людкой-то? – донеслось до меня.

– Послезавтра в рейс уходит. Надо сходить проводить.

– Проводи-проводи, а еще лучше попрощайся.

– Не начинай, это вот.

Антон ушел в рейс через две недели. Мы с матерью поехали провожать его. В такси разговор снова зашел о деньгах.

– Штуки три сделаешь?

– Там видно будет, – с неохотой отвечал Антон. Он всегда отвечал неохотно, чтобы неторопливей раскручивать разговор.

– Что значит «видно будет»? Это – серьезный вопрос, Тося. Ты же не будешь всю жизнь бегать от нас на Чичерина и обратно, правильно?

– Нет, не буду, – неожиданно резко ответил он. – Но ты сама прикинь: сколько мне таких рейсов нужно сделать? И ради чего? Чтобы купить какую-то халабуду на Молдаванке?

– На Молдаванке тоже люди живут, – возразила мать. – Ты же не намерен там селиться на всю жизнь?

– Та ты понимаешь, – он энергично опустил вращающейся рукояткой стекло в двери машины и выдул в окно тут же отлетевшую назад струю дыма. – Я вот прикидываю: сколько лет мне надо пахать, чтобы жить по-человечески?

– Ну и сколько?

– Полжизни, если не больше!

– Боже мой, Тося, тебе только 24 года, о чем ты говоришь?! Ну пусть у тебя уйдет на покупку двухкомнатной квартиры десять лет, люди вон на заводе по 35 лет в очереди на жильё стоят!

– А про армию ты забыла? Задолбали уже этими повестками.

Мать не ответила, только скулы четко обозначились под кожей. Высунув руку из машины, Антон элегантно сбивал с сигареты пепел. У него были удивительно ухоженные

руки. Мы ехали вдоль глухой портовой стены, за которой стояли похожие на металлических жирафов краны и слышались вздохи и лязганье железнодорожных составов.

– Так что ты намерен делать, ты можешь мне сказать?

– Та есть кое-какие мысли, это вот...

Мы так и не услышали, какие у него были мысли. Машина въехала на морской вокзал, и Антон, зажав сигарету зубами, сильно откинулся на спинку сиденья, чтобы достать из джинсов деньги. У него был очень красивый вишневый бумажник, но наличные он всегда носил в кармане сложенной пополам пачкой. Когда он расплачивался, на это обращали внимание. Ему это нравилось.

Когда водитель извлек из багажника его сумку, Антон дал ему пятерку, бросив:

– Сдачи не надо.

– Это что за барские замашки? – с возмущением спросила мать, когда такси отъехало. – Так тебе точно полжизни не хватит на дом собрать.

– Та дай человеку заработать, это вот, – небрежно ответил Антон и, протянув остаток денег ей, добавил:

– Это – тебе, мне там все равно не понадобятся.

– Все будет сохранено до копейки с полным отчетом.

У перил она, как всегда, просила его писать ей хоть пару слов – где он – что он, – а он, как всегда, отвечал, что будет писать.

«Леонид Собинов» был огромным. Край борта из гигантских белых листов металла, прошитых такими же гигантскими заклепками, доходил до второго этажа нового стеклянного здания морвокзала. Из огромной высокой трубы, опоясанной красной лентой с желтыми серпом и молотом, деловито вырывались узкие ленты серо-голубого дыма. Пространство вокруг нас негромко гудело и вибрировало от работы судовых машин. Воздух был пропитан ароматом иностранных сигарет и машинного масла. Мы стояли в толпе очень нарядно, по-заграничному одетых людей. Взгляд мой выхватывал вышитые чудесными золотыми нитками по черному шелку названия: Lee, Wrangler или белыми по красному – Levi's. В глазах рябило от ярких полурукавок, чудесных мокасин из коричневой или черной кожи, остроносых туфелек на тонких каблуках. Как элегантно они приподымали женщин над землей, как четко прорисовывались сухожилия подъема и икры!

Антон поцеловал мать, взяв меня за макушку, прижал мою голову к своей кожаной куртке, потом, подхватив сумку, торопливо пошел по широкому трапу на судно. Достав из заднего кармана белых джинсов документы, подал их пограничнику, повернувшись к нам, вскинул руку и крикнул: «Ни за что не волнуйся! Ты поняла? Все будет хорошо!»

Он махнул нам и исчез в черном проеме.

Гости в костюмах

Я не помню, сколько прошло времени после ухода Антона в рейс. Я никогда не ждал его. Для меня он просто был дома или его не было дома. Когда его не было, в доме менялся воздух. В прямом и переносном смысле – квартира освобождалась от запаха сигаретного дыма, душистого вначале и становящегося тяжелым, горько-кислым, когда сигареты гасли, но главное – из дому уходило напряжение, возникавшее из-за

бесконечных проблем Антона, которые нужно было срочно решать, всегда с участием мамы и всегда вызывая раздражение отца.

Не помню, сколько прошло. Месяц? Пусть будет месяц. Устроившись на диване, я в какой раз читал историю отважного капитана Блада и прекрасной Арабеллы Бишоп. Мать сидела у швейной машинки, отец, склонившись к приемнику, слушал один из своих «голосов». И вдруг стул, на котором он сидел, с дробным рокотом отъехал от приемника и отец очень громко и резко сказал, как скомандовал: «Ма, иди сюда быстро!» Он сделал звук чуть громче и приложил палец к губам.

Диктор говорил о советском моряке, попросившем убежище на Западе, потом перешел к другой теме.

– Ты все поняла? – спросил отец, потирая щетину щек. – Он остался там!

– Кто?!

– Антон!

– Антон остался там? – мать не могла понять. – Где там?

– Невероятно, просто невероятно, – отец поднялся и все водил рукой по лицу, словно умывался. – В Испании. Сошел на берег, а через два дня явился в полицию и попросил убежища.

Мать все не могла поверить, что речь шла о ее сыне.

– Как же так? Почему? – повторяла она. – Он же ничего не говорил.

– А что он тебе должен был сказать? Мама, я собираюсь сбежать?

– Я не знаю. Ну, хоть что-то...

– Знаешь, дорогая моя, ты приготовься вот к чему – не сегодня-завтра к нам придут. И первое, что тебя спросят, не говорил ли он тебе *что-то*. Так вот я тебя прошу, я просто требую, отвечай, что он *ничего* не говорил и ты *ничего* не знаешь. *Ни-че-го*.

– Да, но я же действительно ничего не знаю!

– Вот и отлично!

Он ушел на кухню, и скоро я почувствовал запах гари. Я вышел к нему и увидел, что он сжигает на сковороде мелко разорванные фотокарточки. Их было много – пачка. Не дожидаясь моего вопроса, он только приложил палец к губам.

Отец не ошибся. Люди в костюмах появились у нас через день. Их было пятеро. Родители провели их в мою комнату, раскрыв платяной шкаф, показали вещи Антона. Рубашки и пиджаки висели на вешалках, под ними стояло несколько коробок с обувью. Те внимательно осмотрели все, проверили карманы, открыли коробки. Прижав меня к себе, мама сидела на постели, отец стоял, прислонившись к дверному косяку. Пока один шарил по вещам, другие разбрелись по квартире, открывали другие шкафы, ящики. Потом один спросил, не привозил ли Антон из заграницы книги.

– Книги? – удивился отец. – Нет, он у нас не читал. Больше по музыкальной части был.

Гости поинтересовались, оставил ли он какие-нибудь бумаги, записи, документы. Отец достал из бокового отделения серванта синюю коробку от электробритвы «Харьков» и передал ее тому, кто стоял к нему ближе. Тот открыл ее. В коробке лежали аттестат об окончании восьмилетки, диплом поварского училища и сберегательная книжка.

Открыв сберкнижку, один из гостей спросил:

– А на что денежки пошли? Месяц назад было восемь тысяч, а сейчас 40 рублей. Он покупал что-то?

– Как 40 рублей? – не поверила мать. – А где же остальное?!

На лице ее отразилась такая растерянность, что не поверить в ее искренность было невозможно.

– Я так думаю, что остальное переведено в доллары, – гость с интересом наблюдал реакцию матери. – Документы мы у вас пока заберем. Надеюсь, вы не возражаете?

Помимо документов визитеры забрали портативный «Панасоник» и десяток маленьких бобин с записями. Признаюсь, первая мысль, посетившая меня после известия о бегстве Антона, была о том, что магнитофон теперь достанется мне. Не передать, как я хотел послушать на нем записи «Битлов».

«Кинь бабе ло-о-онг», – подпевал битлам Антон и щелкал в воздухе пальцами.

«Тара-та-та, та-ра-рам, тара-ра, та-ра-ра!», – отвечали битлы, а он, подняв руки и хлопая в ладоши, привстав на цыпочки и чуть согнув колени, двигал бедрами в такт музыке. Я отводил взгляд. Людмила вскакивала и точно так же согнув колени, двигая бедрами и хлопая в ладоши, ходила напротив него по тому же воображаемому кругу. Я опрокидывался на постель и смотрел в потолок, на обегавший его лепной бордюром из бесстрастных белых лиц и венков.

Я любил другую песню – Things We Said Today. Как красиво в ней звучали гитары! Я включал ее, когда дома никого не было, и лежа на постели мечтал о чем-то невнятном, о какой-то девушке, но не такой как Люда, а как Арабелла Бишоп, но с которой можно было бы говорить о чем-то интересном – о книгах, например, или о кино, а не о домах и машинах, или еще о том, сколько собралось на книжке. Господи, как я ненавидел их разговоры!

После первого визита, точнее после обыска, к нам заходили уже только двое. Один – совсем молодой блондин, наверное, такого же возраста, что и Антон. Мать, тем не менее, обращалась к нему по имени-отчеству – Тимофей Николаевич. За глаза отец называл его Тихошей.

– Ты заметила, как Тихоша-то впитывает? – спрашивал он маму. – Старательный паренек. Физиономия наивная, а взгляд – пытливый, не заметила?

– Нет, я не заметила, – коротко отвечала она. Ее голова, как всегда, была занята чем-то другим, более важным.

Напарник Тихоши был ровесником отца – сухой, скуластый, темнолицый, редкие черные волосы зачесаны назад. Отец обращался к нему официально – товарищ Семененко. Этот говорил негромко, с расстановкой, как человек, которому торопиться было некуда. Устроившись на стуле напротив сидевших на диване родителей, опершись локтями на колени и сведя вместе ладони, он, двигая ими в такт словам, негромко, но очень настойчиво говорил, что родители должны выступить. Я не понимал, что стояло за словом «выступить», но видел, что мать слушала Семененко с совершенно окаменевшим лицом. Тот же заканчивал свою мысль, делал паузу и начинал по новой: «Вы должны это осознать. Как советские граждане вы должны...».

Во время очередной паузы отец вдруг спросил:

– А вы слышали, по «Голосу Америки» уже передали, что теперь следует ждать, что от него откажутся родители?

– Вы слушаете «Голос Америки»?

– А что делать? «Известия» об этом не пишут.

– Ну и что вы узнали из вашего источника?

– То, что я вам сказал. Они уже ждут, что мы от него отречемся, хотя все знают, что никакая мать – они так говорят – никогда от своего сына не откажется. Поэтому этот кукольный театр вам же пойдет во вред.

– Что значит – *вам*? – Семененко откинулся на спинку скрипнувшего стула. – Вы считаете, что как гражданин этой страны вы не несете перед ней никаких обязательств? И что значит *кукольный театр*? Речь идет о деле государственной важности, об инциденте, к которому вы лично имеете прямое отношение. Вы это осознаете?

– Я это, конечно же, осознаю, – поторопился заверить собеседника отец. – Именно поэтому я хочу, чтобы мы никому не давали поводов смеяться над нами. А кукольный театр это *их* выражение. И я вам еще раз говорю: мать Антона – Галину Петровну, – он положил ладонь на колено матери, – к этому делу лучше не привлекать. Там, на Западе, этого уже ждут, чтобы использовать против нас же.

– Вы хотите выступить сами?

– А что я скажу?! Он – не мой сын, как я могу от него отказываться?

– Как это – не ваш? – удивился Семененко.

– Это значит, что у него есть родной отец.

– А вы? Вы его не усыновили?

– Нет.

– Почему?

– А он не хотел! Хотел, чтобы в анкетах оба родителя были русскими. Вы не обратили внимания, у нас фамилии разные? Он – Овечкин, я – Рыбаков. А он плавать хотел.

После секундной паузы он добавил с едва уловимым сарказмом:

– Хотя с моей фамилией плавать должен был я.

– А вы... – Семененко замешкался, – э-э...

– Да, – ответил на непрозвучавший вопрос отец.

– Ну, знаете, у нас в пароходстве работают люди... Э-э... разных национальностей.

– Не сомневаюсь, – заверил его отец. – Но он так хотел. Понимаете, когда человеку шестнадцать лет, ему доказать что-либо сложно. А если он еще зарабатывает в пять раз больше вас, просто невозможно. У вас дети есть?

– А где живет его отец? – проигнорировал обращенный к нему вопрос Семененко.

– В Ростове, – сказала мать чужим, тяжелым голосом. – Адреса у нас нет. Мы с ним отношений не поддерживаем.

Ростов?

Скрытая от меня жизнь всплывала из омута недоговорок и необъяснимых отношений, восстанавливала свою целостность.

Ростов!

Как-то мать послала меня за хлебом. Машина с хлебзавода приезжала к магазину около восьми вечера, и буханку еще горячего хлеба можно было купить у водителя, не дожидаясь конца разгрузки. Было уже темно, когда я вернулся домой. Поднимаясь по лестнице, я услышал, как кто-то не очень уверенно спускается мне навстречу. Я остановился на площадке второго этажа, чтобы пропустить человека. Когда он был рядом со мной, дверь одной из кухонь открылась, и в ярком электрическом свете я увидел его. Вид его меня перепугал. Это был Антон, но какой-то искаженный, постаревший, обрюзгший. Он бросил на меня быстрый взгляд, глаза его показались мне совершенно

прозрачными, и продолжил спускаться. Силуэт мелькнул в светлом прямоугольнике выхода и исчез.

На кухне мать разминала в миске фарш для котлет. Она делала это с теми видимыми усилиями, которые всегда указывали на то, что она нервничает. Я достал из холодильника масло, взял нож. Благоухающая теплым тестом горбушка с маслом, присыпанная сахаром, была лучшим лакомством.

– Уроки сделал? – спросила она меня.

– Сделал, – ответил я. По ее виду было понятно, что проверять меня она не станет.

В этот момент входная дверь распахнулась, и появился Антон. Лицо его было красным от возбуждения.

– Он был? – выпалил он, заставив меня вспомнить о встрече на лестнице.

– Минуту как вышел.

– И не подождал?!

– Очень занят, – ответила мать.

Не сказав больше ни слова, Антон бросился вон из кухни, снова загрохотали железные ступени.

– Антон, не смей! – крикнула мать, но дверь уже хлопнула, разделив их.

Он вернулся очень скоро, я еще боролся с ломким из холодильника маслом, дожидаясь, когда теплый хлеб размягчит его.

– Ну как, повидался?

Антон сел на подоконник, возбуждение еще не покинуло его. Он сидел ссутулившись, в руках его была зеленая трешка, которую он безостановочно выравнивал пальцами.

– Неужели на мороженое дал? – поинтересовалась мать.

Он не ответил.

– Позвал к себе в *Ростов*?

Он вдруг скомкал купюру и, размахнувшись, бросил ее в пол, она подпрыгнула и укатилась под газовую плиту. Глаза у него стали мокрыми, он громко шморгнул, еще раз, и вдруг крикнул мне:

– Что ты уставился на меня, а?!

– Он-то тут при чем? – мать шлепнула фарш в миску и стала снимать с рук остатки мяса. – Или я тебе не говорила?

Я ушел в комнату. От обрушившейся на меня ни с того ни с сего ненависти я дрожал. Испуг и обида отодвинули на второй план мысль о встреченном на лестнице человеке, не дали объяснить его сходство с Антоном.

В комнату вошла мать. В руке ее была тарелка с горбушкой, уже намазанной маслом и присыпанной сахаром.

– Ешь.

Я расплакался.

Она села возле меня.

– Не надо. Он не со зла.

– Со зла! – сказал я, размазывая слезы по щекам. – Именно что со зла!

– Это моя вина, – сказала она. – Прости меня.

Она привлекла меня к себе, поцеловала в макушку. Я заплакал еще сильнее, и по тому, как вздрагивала ее рука на моем плече, я понял, что она тоже плачет. Ах, как я хотел, чтобы она была моей и только моей!

Потом она оставила меня и вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Есть не хотелось, в горле стоял ком, но запах хлеба с маслом был так хорош, так манил, что я взял его и стал жевать, с трудом двигая челюстями.

И сейчас этот Ростов всплыл из того вечера, окончательно расставив все по своим местам.

– Свяжитесь с ним! – подсказал отец гостю. – Вам-то его найти проще-простого. Один раз он от сына отказался, откажется еще раз. Тем более это не грозит ему дополнительными расходами.

После этого разговора визиты комитетчиков прекратились, хотя ожидание того, что они могут появиться в любой момент, еще долго не покидало нас. Что будет с нами – мы тоже не понимали.

– Посадить не посадят, но кровь попьют, – говорил по этому поводу отец.

В то время мать работала в магазине тканей в «Пассаже» на Дерибасовской. Она сама пришла к заведующей и сказала, что готова написать заявление об увольнении по собственному желанию, но ее остановили: ее должны были уволить для отчетности о принятых мерах – на общем собрании коллектива.

Собрание, однако, не состоялось. Ее уволили тихо, как она сама и предлагала – «по собственному желанию». Но после недель разговоров с комитетчиками, ожидания шумного, со страшными обвинениями в ее адрес, увольнения, она вдруг постарела, осунулась, плечи ее опустились. Ее обычную деловую озабоченность, сосредоточенность на всем, чем она занималась, сменила усталая рассеянность. Она ложилась на диван, лицом к стене и лежала так часами. Проголодавшись, я шел на кухню, и, услышав звон посуды или хлопок двери холодильника, она поднималась.

Лето мы, как обычно, провели на даче, а осенью тетя Нина устроила мать на работу в артель по изготовлению учебных пособий, где работала сама. Тамашнее начальство мало интересовалось моральным обликом работников. Мать и тетя Нина раскрашивали плакаты, на которых были изображены знаки дорожного движения.

Отца особо не терзали. Во-первых, у него, как оказалось, был совершенно неотразимый довод – Антон не доводился ему родным сыном, а вы знаете, какое влияние отчим имеет на неуправляемого подростка – никакого. Сперва училище, потом пароходство, он его толком и не видел. Во-вторых, отец считался одним из лучших мастеров ателье. Городское начальство постоянно передавало ему для ремонта иностранную аппаратуру: грюндики, акаи, панасоники и все такое. Пропесочивание носило формальный характер. Я узнал об этом из его разговора с Тиховодом. Как-то тот позвонил нам по телефону и попросил отца посмотреть его телевизор – исчезло изображение.

Взяв чемоданчик с инструментами и радиодетальями, отец предложил нам пойти с ним. Мать была рада выбраться из дому.

– Одевайся, – дала она мне команду.

Были сумерки, небо было того замечательного нежно-сиреневого цвета, какой я видел только в Одессе. С моря дул упругий, теплый ветер. На Ольгиевской отец зашел в гастроном купить шкалик «Московской» – для мальчиков и вафельный торт в плоской картонной коробке – для девочек.

К нашему приходу дядя Виталий устроил телевизор на столе, снял с него заднюю картонную стенку, всю в отверстиях разной формы, подвинул настольную лампу. Отец сел к столу, попросил Виталия включить телевизор, а сам, сложив руки на груди, смотрел

на происходящее в коробке. Через минуту-другую, когда лампы засветились ровным оранжевым светом, он сказал:

– Триод полетел, сейчас заменим.

Он достал из рабочего чемоданчика нужную лампу, поставил ее куда надо и снова попросил дядю Виталия включить телевизор. Тот включил. Из экранной темноты всплыла диктор с высокой прической.

– Во Владивостоке сегодня + 5, – сказала она. – В Сведловске – 2, в Москве и области +5, в Киеве + 7.

– Сволочи, что хотят то и делают, – сказал отец и они с Виталием захохотали. – Отрубай.

Дядя Виталий выключил телевизор. Отец поставил на место заднюю стенку, закрутил винты. Взяв телевизор с двух сторон, приятели поставили его на тумбочку между окон – его обычное место.

– Девушки, вы тут чай-варенье, а мы по-своему, ладно? – сказал дядя Виталий и махнул рукой отцу, чтобы тот следовал за ним на кухню.

– Только не увлекайтесь, – напутствовала его хозяйка.

Она сидела с мамой на диване и пила чай. Нарезанный торт она устроила на деревянной разделочной доске, положив ее между собой и гостьей. У Тиховодов все было по-простому. В отличие от мамы, тетя Нина обходилась без блюдец, скатертей, портьер и прочих красивых вещей. В оконные рамы, где-то на середине их высоты, были вбиты гвоздики, между ними была натянута бечевка, и на нее надеты занавески – обычная белая материя, скорей всего, куски старых простыней. Тиховоды жили на первом этаже, пол у них был вровень с тротуаром, и когда они стояли или ходили по комнате, с улицы были видны их головы. Их это не беспокоило. Мать же была помешана на тканях, и хотя мы жили на последнем этаже, она повесила на окна тюлевые занавеси от потолка до пола, а перед ними – портьеры из тяжелого, «мясистой», как она говорила, ткани.

На кухне дядя Виталий достал из холодильника завернутый в марлю кусочек сала, нарезал его тонкими ломтиками, поставил рядом горчицу, черный хлеб, разлил водку.

Друзья, как цирковые близнецы, быстро соорудили по бутерброднику, потом одновременно хлопнули в ладоши, потеряли их одна о другую, выпили, крякнули, поднеся бутерброды к носу, шумно втянули воздух, закусили.

– Ну, давай, – сказал дядя Виталий по окончании ритуала. – Докладывай обстановку.

– Докладываю, – отец придвинул табурет поближе к столу и, наклонясь к другу, стал негромко рассказывать.

– Значит, вызвали к директору. Так и так, мы тебя ценим, понимаем твою семейную ситуацию, но порядок есть порядок. Приготовься к собранию, мало тебе там уже не покажется. Парторг поехал в горком утверждать выступление. Но увольнять команды не давали. Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда – вольно, разойдись. Вот и все.

Дядя Виталий налил еще по рюмке и, подняв свою, сказал:

– Ну, дай Бог, Шурка. Времена, все же, не прежние.

Прощание с Людмилой

– Как-то мы про Людку забыли, – сказала мать за ужином. – А ведь она может что-то знать.

– Поверь мне, она знает не больше нашего, – ответил отец.
– И все-таки, надо сходить к ней. Главное, чтобы она не в рейсе была.
– Ну, за то что она больше не плавает, я тебе ручаюсь, – сказал отец. – Мишку возьми с собой.

По рекомендации отца мать тогда таскала меня за собой, куда бы ни шла.

– Эти, – я знал, кого имел в виду отец, – способны на любую пакость. Если вы будете вдвоем, им это будет сложнее.

Мы отправились на Чичерина. По цементной лестнице в простенке спустились к крашенным коричневой краской дверям, мать позвонила. Открыла Людмила.

– А, это вы, ну проходите-проходите.

Мы вошли в комнату с низким потолком. У одной из стен стояла раскладушка, стул и чемодан. Проем в стене открывал часть кухни. Пахло свежей краской, но и она не перебивала запах сырости.

– Извините, не могу предложить сесть, мебель всю выбросили.

– У вас ремонт был? – спросила мать.

– Да, как видите.

Людмила немного изменилась. Поправилась, лицо чуть припухшее. Она стояла в нескольких шагах от нас, руки в карманах джинсов, босая, смотрела на мать с вызовом.

– Мама дома?

– Мамы больше нет.

– Что значит – больше нет?

– Один тут ночевал, друг ее, ну и зарезал, – Люда сделала паузу, проверяя какое впечатление произведут ее слова. – Все в крови было. Пол, стены – все.

– Какой ужас... А ты-то что теперь будешь делать?

– Уезжаю.

– Куда, если не секрет?

– Секрет.

– Что у тебя в пароходстве?

– В пароходстве у меня все замечательно – уволили. Свободна как ветер в поле. Спасибо Тосику.

Помолчали.

– Ты что-то знала о его планах?

– Нет! – сказала Людмила. – Планы, как выяснилось, были только у меня. В смысле, у меня свои, а у него – свои.

– Разве он не... доверял тебе?

– Еще как доверял! Особенно водку на судно проносить, чтобы он ею в баре торговал, а в остальном, как видите, – она развела руки и хлопнула себя по бедрам.

– Он тебе хоть что-то оставил?

– Оставил, конечно! На всю жизнь хватит!

Она встряхнула головой, отбрасывая челку с глаз.

– Люда... – я видел, мать ищет подходящие слова. – Ты что, в положении?

– Это вас абсолютно не должно касаться, – отрезала та. – Абсолютно!

– Если тебе что-то нужно, мы поможем тебе.

– Большое спасибо, буду иметь в виду. Если у вас все, то мне тут собираться нужно.

В Александровском садике мать села на скамейку. Спрятав лицо в ладонях, она сидела так долго, и потом я увидел, как вздрагивают ее плечи.

– Мама, – позвал я ее. – Мам. Не плачь. Мама.

Она достала из сумки платок и стала утирать им лицо.

– Что он натворил, Господи, что он натворил, – повторяла она. – Прости его, дурака, Господи, прости его...

Я оглянулся – не видит ли нас кто-нибудь. Никого не было вокруг. Платаны неподвижно стояли в ясном, просто светящемся от солнца воздухе. Ни ветерка, ни звука. Мы были совершенно одни в садике и, казалось, во всем городе.

Париж Латинской Америки

По «Голосу» об Антоне сообщили еще только раз, но для нас и этого было много. Из Испании мой сводный брат перебрался в Аргентину. Почему он выбрал именно эту страну, мы могли только гадать. Может быть, какой-то знающий чиновник, рассматривавший его просьбу о предоставлении убежища, посоветовал держаться подальше от родины, всегда проявлявшей нездоровый интерес к беглецам. А может быть, кто-то подсказал ему, что в Аргентине большая русская община, которая сможет поддержать его, помочь с работой. По словам западного диктора, Антон бросил якорь в Буэнос-Айресе и устроился там по специальности – официантом.

Помню конец короткого радиорепортажа о нем:

«Город, который выбрал молодой моряк в качестве последнего пункта своего необычного рейса, называют Парижем Латинской Америки». Диктор говорил как человек, для которого русский не был родным. Мы с мамой сидели на диване, отец – у приемника, держа пальцы на ручке настройки. В полутемную комнату полился нежный и волнующий звук аккордеона, потом он стал затихать и снова заговорил диктор.

«Перефразируя слова известной песни, еще один иммигрант шлет привет из далекого Парижа. Парижа Латинской Америки – одного из красивейших городов мира – Буэнос-Айреса. Будем надеяться, что жизнь беглеца, полная тревог и надежд, сложится несопоставимо лучше той, которую он оставил на своей коммунистической родине!»

Аккордеон заиграл громче. Мы слушали музыку как зачарованные, представляя каждый по своему этот дивный город – Буэнос-Айрес и нашего Антона в нем, сидящего с сигаретой в уличном кафе, идущего по залитой огнями витрин вечерней улице, приходящего в свой дом, где его ждет нормальная девушка.

– Вывод в целом верный, – сказал отец, кивая на приемник и делая звук тише. – Говори что хочешь, а он одним махом решил кучу проблем: с армией, с квартирой, с работой, с этой Людой. Ты только вспомни ее мамашу. Нет, как бы он там ни устроился, но там ему не будет хуже, чем здесь.

Мать только вздохнула в ответ. Ей нечего было возразить. Она чувствовала себя оскорбленной недоверием любимого сына, его отказом поделиться с ней своим планом, в то время как его жизнь была ее жизнью.

– Как есть – так есть, – ответила она негромко.

Стала бы она останавливать его, знай о его планах? Вряд ли. Она всегда делала так, как хотел он, поддержала бы его и на этот раз. Она понимала и то, что отец прав – здесь у него были одни проблемы, но что его ждало там? Она не знала. Аргентина, Буэнос-Айрес – в этих словах были солнце и океан, пальмы и олеандры, красивые машины и яхты,

достаток и счастье. Но если бы он только намекнул ей заранее, она смогла бы как-то помочь ему подготовиться, собрать что-то нужное в дорогу, посоветовать что-то важное, известное только ей. Хотя все нужное, что он мог взять, он взял – деньги. Ну хорошо, тогда она могла бы просто обнять его, как обнимают раз в жизни – прощаясь навсегда, а он лишил ее этого. Обманул. Она, конечно же, простила его, как прощала всегда, но это не избавило ее от тоски, которую она, казалось, очень бережно носила у себя под сердцем, потому что в этой боли жила ее главная любовь.

Предатели и победители

Одно из самых ярких воспоминаний той поры – празднование Дня Победы. Мы с отцом шли на парад. Он надевал черный выходной пиджак с медалями и орденом Красной звезды, мать одежной щеткой оглаживала его, замечая, что ткань залоснилась так, что стыдно надевать.

– Да нормально все, – говорил отец. – Еще похоронишь меня в нем.

– Не знаю, кто кого, – отвечала мать и возвращалась к своим занятиям.

Мы направлялись с ним по Княжеской к Новому рынку, выходили на Садовую. Ближе к Соборной площади людей становилось больше, слышны были звуки оркестра. Вокруг нас шли нарядно одетые женщины, мужчины с орденами и медалями, некоторые в военной форме. С каждым кварталом народу становилось все больше. Музыканты в военной форме размещались в ажурной беседке Городского сада. Дирижер стоял у перил спиной к слушателям и коротко взмахивал руками в такт маршу. Повсюду трепетали и сухо хлопали красные флаги, из репродукторов на столбах звучал голос Левитана: «От Советского информбюро. Сегодня войска Второго Украинского фронта под командованием...»

Со времени побега Антона прошел год, и тот парад Победы был последним, на который мы пошли с отцом вместе. Я больше не испытывал мальчишеского интереса к катюшам последнего образца, артиллерии и танкам, с грозным рокотом двигавшимся по Пушкинской улице. Я обращал внимание на другое: беглые взгляды мужчин на награды друг друга, на то, как женщины всматривались в их лица, словно пытались прочесть что-то важное.

Именно в тот день я заметил, что у отца появилась новая, горьковатая такая усмешка. Он, конечно, был героем, защитником Родины и мог гордиться своим боевым прошлым, и я тоже мог гордиться им и гордился, но эта неуверенная полуулыбка словно говорила, что праздник его неполный.

Антон, отравлявший его жизнь долгие годы, исчез, оставив ему поле боя, но победа не принесла счастья. Так наверное бывало, когда солдат возвращался домой и на его месте находил пепелище. Мать окончательно замкнулась в себе, и мне стало казаться тогда, что я – то единственное, что связывает их. Они все еще ходили к Тиховодам на «тортик для девочек и шкалик для мальчиков», в кафе-мороженое на Дерибасовской, но как-то порознь, хотя и вместе.

Отец много времени проводил на даче, даже начал делать там свое вино. Столы наполнили бутылки, шланги, лейки. Когда я уже учился в университете, мы, бывало, устроившись с ним в саду, распивали бутылку. Вино было с каким-то едва уловимым солоноватым послевкусием, так себе – одним словом, но он всегда знал, как в следующем году сделать его лучше. Мы мало говорили, но для него важно было, что я рядом.

Однажды я пообещал помочь ему срезать лозы на зиму, и когда приехал после занятий, сразу увидел его в шезлонге между рядов винограда. Под ногами лежал секатор и пучок срезанных веток. Старая соломенная шляпа закрывала его лицо, и я даже не понял поначалу, что случилось. Я позвал его, уже начав осознавать, что он не ответит. Было еще тепло, садившееся солнце тихо горело на остатках желтой и багряной листвы, пели птицы.

В начале 90-х по просьбе матери я попытался найти Антона через посольство, и менее чем через месяц получил сообщение, что он умер «по естественным причинам» в 1990-м году в Ла-Плате. Я посмотрел по карте – это был город рядом с Буэнос-Айресом. Матери я сказал, что его не нашли и, возможно, он просто переехал в другую страну, у них там это просто.

– Нет, – твердо ответила она. – Я знаю, что его уже нет.

Года не минуло, как и она ушла, как-то быстро сдав, словно торопясь за сыном и точно зная, где, наконец, найдет его.

Нью-Йорк, 2018–2022 г.